В. Г. Белинский

Полное собрание сочинений в 13 томах

Том 10

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82
ББК 83
Б43

Белинский В.Г.
Б43 Полное собрание сочинений в 13 томах: Том 10 / В. Г. Белинский – М.: Книга по Требованию, 2013. – 480 с.

ISBN 978-5-518-16221-1

Статьи и рецензии 1847—1848 годов («Взгляд на русскую литературу в 1846 году», «Похождения Чичикова, или Мертвые души», «Выбранные места из переписки с друзьями», «Письмо к Гоголю», «Ответ „Москвитянину», « Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др.)

ISBN 978-5-518-16221-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Серия Книжный Ренессанс
www.samizday.ru/reprint

СТАТЬИ
И
РЕЦЕНЗИИ

1846

I. ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 года[1]

Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее. Поэтому говорить о русской литературе 1846 года — значит говорить о современном состоянии русской литературы вообще, чего нельзя сделать, не коснувшись того, чем она была, чем должна быть. Но мы не вдадимся ни в какие исторические подробности, которые завлекли бы нас далеко. Главная цель нашей статьи — познакомить заранее читателей «Современника» с его взглядом на русскую литературу, следовательно, с его духом и направлением как журнала. Программы и объявления в этом отношении ничего не говорят: они только обещают. И потому программа «Современника», по возможности краткая и не многословная, ограничилась только обещаниями чисто внешними.[2] Предлагаемая статья, вместе с статьею самого редактора, напечатанною во втором отделении этого же нумера, будет второю, *внутреннею*, так сказать, программою «Современника», в которой читатели могут сами, до известной степени, поверять обещания исполнением.[3]

Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнию, с действительностию, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости. Само собою разумеется, что подобная характеристика может относиться только к литературе недавней, молодой и притом возникшей не самобытно, а вследствие подражательности. Самобытная литература зреет веками, и эпоха ее зрелости есть в то же время и эпоха числительного богатства ее замечательных произведений (chef d'œuvres). Этого нельзя сказать о русской литературе. Ее история, как и история самой России, не похожа на историю никакой другой литературы. И потому она представляет собою зрелище единственное, исключительное, которое тотчас делается странным,

непонятным, почти бессмысленным, как скоро на нее будут смотреть, как на всякую другую европейскую литературу. Как и всё, что ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра Великого. Правда, он не заботился о литературе и ничего не сделал для ее возникновения, но он заботился о просвещении, бросив в плодовитую землю русского духа семена науки и образования,— и литература, без его ведома, явилась впоследствии сама собою как необходимый результат его же деятельности. В том-то, скажем мимоходом, и состояла органическая жизненность преобразования Петра Великого, что оно породило много и такого, о чем он, может быть, и не думал, чего он даже и не предчувствовал. Даровитый и умный Кантемир, вполовину подражатель, вполовину перелагатель на русские нравы сатир римских поэтов (преимущественно Горация) и их подражателя и перелагателя на французские нравы — Буало, Кантемир, с его силлабическим размером, с его языком, полукнижным, полународным, который, по самой этой смеси, был языком образованного общества того времени, Кантемир и вслед за ним Тредьяковский, с его бесплодною ученостию, с его бездарным трудолюбием, с его схоластическим педантизмом, с его неудачными попытками усвоить русскому стихотворству правильные тонические размеры и древние гекзаметры, с его варварскими виршами и варварским двоекратным переложением Роллена,— Кантемир и Тредьяковский были, так сказать, прологом, предисловием к русской литературе. От смерти первого прошло с небольшим *сто два* года (он умер 31 марта 1744 года); от смерти второго прошло только с небольшим семьдесят семь лет (он умер 6 августа 1769 года). Тредьковский был еще в цвете своей славы и еще только шесть лет величал себя «профессором элоквенции и хитростей пиитических»; еще молодой, но больной, слабый и уже близкий к смерти, Кантемир был жив, * когда в 1739 году двадцативосьмилетний Ломоносов — Петр Великий русской литературы — прислал из немецкой земли свою знаменитую «Оду на взятие Хотина», с которой, по всей справедливости, должно считать начало русской литературы. Всё, что сделано было Кантемиром, осталось без следа и влияния в книжном мире; всё, что было сделано Тредьяковским, оказалось неудачным,— даже его попытки ввести в русское стихотворство правильные тонические метры... Поэтому ода Ломоносова показалась всем первым стихотворным произведением на русском языке, которое было написано правильным размером. Влияние Ломоносова на русскую литературу было такое же точно, как влия-

* Кантемиру тогда было 31 год, а Тредьяковскому — 36 лет.

ние Петра Великого на Россию вообще: долго литература шла по указанному им ей пути, но, наконец, совершенно освободясь от его влияния, пошла по дороге, которой сам Ломоносов не мог ни предвидеть, ни предчувствовать. Он дал ей направление книжное, подражательное, и оттого, повидимому, бесплодное и безжизненное, следовательно, вредное и губительное. Это совершенная правда, которая, однако ж, нисколько не умаляет великой заслуги Ломоносова, нисколько не отнимает у него права на имя отца русской литературы. Не то же ли самое говорят о Петре Великом наши литературные старообрядцы?[1] И надо сказать, что их ошибка состоит не в том, что́ они говорят о Петре Великом и созданной им России, а в том, какое они выводят из этого следствие. По их мнению, реформа Петра убила в России народность, а следовательно, и всякий дух жизни, так что России для своего спасения не остается ничего другого, как снова обратиться к благодатным полупатриархальным нравам эпохи Кошихина. Повторяем: ошибаясь в выводе, они правы в положении, и поддельный, искусственный европеизм России, созданный реформою Петра Великого, действительно может казаться не более, как внешнею формою без внутреннего содержания. Но разве нельзя того же самого сказать о всех поэтических и ораторских опытах Ломоносова? За что же, по какому же странному противоречию с собственным своим взглядом эти самые люди благоговеют перед именем Ломоносова и с странною раздражительностию принимают за преступление всякое свободное мнение об этом риторе и в поэзии, и в красноречии? Не было ли бы с их стороны гораздо последовательнее и сообразнее с логикою и здравым смыслом и на Ломоносова смотреть так же точно, как смотрят они на Петра Великого?..[2]

Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни отсутствия своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в него со временем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь. Не будем распространяться, каким образом это сделалось с Россиею, созданною Петром, и русскою литературою, созданною Ломоносовым; но что это действительно сделалось и делается с ними — это исторический факт, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедию Грибоедова, произведения Пушкина, Лермонтова и в особенности Гоголя,— сравните их с произведениями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ими ничего общего, никакой связи, вы подумаете, что в русской литературе всё случайно — и талант и гений; а может ли иметь какую-нибудь важность случайное: не есть ли это призрак,

мечта? И действительно: было время, когда вопрос — есть ли у нас литература? не казался парадоксом и многими разрешен был в отрицательном смысле. И такое решение естественно и неизбежно, если русскую литературу судить на основаниях, по которым должно судить историю европейских литератур. Но один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, нисколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего, европейских народов. То же и в отношении к истории русской литературы. Между писателями, которых мы поименовали выше, и между Ломоносовым и его школою действительно нет ничего общего, никакой связи, если сравнивать их, как две крайности; но между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете изучать в хронологическом порядке всех русских писателей, от Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина всё движение русской литературы заключалось в стремлении, хотя и бессознательном, освободиться от влияния Ломоносова и сблизиться с жизнию, с действительностию, следовательно, сделаться самобытною, национальною, русскою. Если в произведениях Хераскова и Петрова, так незаслуженно превознесенных современниками, нельзя увидеть ни малейшего прогресса в этом отношении,— зато прогресс есть уже в Сумарокове, писателе без гения, без вкуса, почти без таланта, но на которого современники смотрели, как на соперника Ломоносова. Попытки Сумарокова, хотя и неудачные, на комедию из русских нравов, его сатиры, а главное, его простодушно желчные выходки против *крапивного семени*, равно как и некоторые прозаические статьи, более или менее касавшиеся вопросов современной ему действительности,— всё это показывает какое-то стремление на сближение литературы с жизнию. И в этом отношении сочинения Сумарокова, лишенные всякого художественного или литературного интереса, заслуживают изучения, так же как имя его, сперва не по достоинству превозносимое, а потом столько же несправедливо унижаемое, заслуживает уважения в потомстве. Нельзя смотреть, как на бесполезные явления, даже и на Хераскова с Петровым: современники видели в них гениев, превозносили их до седьмого неба, стало быть, читали их, а если читали, стало быть, эти писатели сильно способствовали распространению в России вкуса к занятию и наслаждению литературою. Безобразные притчи Сумарокова явились изящными, по тому времени, переводами французских басен в баснях Хемницера и Дмитриева, а в баснях Крылова они явились впоследствии

превосходными народными произведениями. Подражатель Ломоносова, смиренно благоговевший даже перед Херасковым и Петровым, Державин если не был самобытным русским поэтом, то уже не был и только ритором. Одаренный от природы великим поэтическим гением, он потому только не мог создать самобытной русской поэзии, что для этого не пришло еще время, а не по недостатку естественных сил и средств. Русский язык был тогда еще не выработан, дух книжничества и реторики царил в литературе; но главное — тогда была только государственная жизнь, но не было общественной, потому что тогда не было общества, а был только двор, на который все смотрели, но который знали только принадлежавшие к нему. Не было общества, не было и общественной жизни, общественных интересов; поэзии и литературе нéоткуда было брать содержания, и потому они существовали и поддерживались не сами собою, а покровительством сильных и знатных, и носили характер официальный. Так должно смотреть на эту эпоху, сравнивая ее с нашею; но не так должно смотреть на нее, сравнивая ее с эпохою Ломоносова: тут был сравнительно большой прогресс. Если в это время еще не было общества, зато именно в это время оно зарождалось, потому что блеск и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднем дворянстве, и тогда же начали устанавливаться в нем те нравы, которые мы видим теперь. И потому, кроме огромной разницы в поэтическом гении, Державин уже имел перед Ломоносовым большое преимущество и со стороны содержания для своей поэзии, хотя он был человеком без образования, не только без учености. Поэтому поэзия Державина далеко разнообразнее, живее, человечнее со стороны содержания, нежели поэзия Ломоносова. Причина этого не в том только, что Ломоносов был больше превосходный стихотворец, нежели поэт, тогда как Державин от природы получил поэтический гений, но и в сравнительном успехе общества времен Екатерины Великой перед обществом времен императриц Анны и Елизаветы.

По этой же причине литература екатерининского времени решительно заслоняет собою предшествовавшую ей литературу. Кроме Державина, в это время был Фонвизин — первый даровитый комик в русской литературе, писатель, которого теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но которого читать есть истинное наслаждение. В его лице русская литература как будто даже преждевременно сделала огромный шаг к сближению с действительностию: его сочинения — живая летопись той эпохи. В это же время литература наша от древних литератур, изучавшихся в семинариях и на семинарский лад, начала исключительно наклоняться к французской литературе. Вследствие этого начали хлопотать о так назы-

ваемой *легкой литературе*, в которой блистал Богданович.[1] К концу царствования Екатерины явился Карамзин, давший русской литературе новое направление. Мы не будем говорить о его великих заслугах, его великом влиянии на нашу литературу и через нее на образование нашего общества. Мы не будем также входить в подробности о следовавших за ним писателях. Скажем коротко, что в каждом из них видно постепенное освобождение от книжного, реторического направления, данного Ломоносовым нашей литературе, и постепенное сближение литературы с обществом, с жизнию, с действительностию. Загляните в *лицейские* стихотворения Пушкина, даже во многие из пьес в первой части его сочинений, им самим изданных,— и вы увидите в них влияние почти всех предшествовавших ему поэтов, от Ломоносова до Жуковского и Батюшкова включительно. Баснописец Крылов, предшествуемый Хемницером и Дмитриевым, так сказать, приготовил язык и стих для бессмертной комедии Грибоедова. Стало быть, в нашей литературе всюду живая историческая связь, новое выходит из старого, последующее объясняется предыдущим и ничто не является случайно.

«Но,— спросят нас, может быть,— в чем же заключалась важная заслуга Ломоносова, если вся заслуга последующих писателей состояла в постепенной эманципации русской литературы из-под его влияния, следовательно, в том, что они старались писать не так, как он писал? И не странное ли это противоречие — говорить с уважением о заслугах и гении писателя, которого вы же сами называете *ритором?*»

Во-первых, Ломоносов нисколько не был ритором по его натуре: для этого он был слишком велик; но его сделали ритором не от него зависевшие обстоятельства. Его сочинения разделяются на ученые и литературные: к последним мы относим оды, «Петриаду», трагедии, словом, все стихотворные его опыты и похвальные слова. В его ученых сочинениях по части астрономии, физики, химии, металлургии, навигации — нет реторики, хотя они и писаны длинными периодами по латино-немецкой конструкции, с глаголами в конце; но его стихотворные произведения и похвальные речи преисполнены реторики. Отчего же это? Оттого, что для ученых своих сочинений у него было готовое содержание, которое добыл он себе наукою и трудом в немецкой земле и которого ему не нужно было дожидаться или допрашиваться у своего отечества. Приобретенное учением и трудом он развил и увеличил собственным гением. Стало быть, он знал, что писал, и не нуждался в реторике. Содержания же для своей поэзии он не мог найти в общественной жизни своего отечества, потому что тут не было не только сознания, но и стремления к нему, стало быть, не

было никаких умственных и нравственных интересов; следовательно, он должен был взять для своей поэзии совершенно чуждое, но зато готовое содержание, выражая в своих стихах чувства, понятия и идеи, выработанные не нами, не нашею жизнию и не на нашей почве. Это значило сделаться ритором поневоле, потому что понятия чуждой жизни, выдаваемые за понятия своей жизни, всегда — реторика. Еще более реторикою были в то время европейские кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, мушки, ассамблеи, менуэты и т. д. Но кто же, кроме теоретиков и фантазеров, скажет, чтобы теперь европейская одежда и нравы не сделались национальными для лучшей, т. е. образованнейшей части русского общества, нисколько не мешая ему быть *русским* на самом деле, а не по названию только? Скажем более: в отношении не только к образованнейшей части русского общества, но и всего народа русского, теперь сделались чистою реторикою все понятия, определения и слова допетровского русского быта,— и если бы военные и гражданские чины наши были переименованы в стратигов, бояр, стольников и т. п.,— простой народ тут ровно ничего бы не понял. То же самое благодаря Ломоносову совершилось и в литературном мире: все подделки под народность теперь отзываются простонародностию, т. е. пошлостию, и все попытки в этом роде самых даровитых писателей отзываются реторикою.

«Но каким же чудом,— спросят нас,— внешнее, абстрактное заимствование чужого и искусственное перенесение его на родную почву,— каким чудом могло породить оно живой, органический плод?» — В ответ на это скажем то же, что уже говорили: решение этого вопроса, без сомнения, интересно; но нам нет дела до него: для нас довольно сказать, что так, именно так было, что это исторический факт, достоверности которого не может и подумать опровергать тот, у кого есть глаза, чтоб видеть, и уши, чтоб слышать. Писатели, в которых выразилось прогрессивное движение через освобождение литературы русской от ломоносовского влияния, нисколько не думали об этом; это делалось у них бессознательно; за них работал дух времени, которого они были органами. Они высоко уважали Ломоносова как поэта, благоговели перед его гением, старались подражать ему,— и всё-таки всё больше и больше отходили от него. Разительный пример этого — Державин. Но в том-то и состоит жизненность европейского начала, привитого к нашей народности Петром Великим, что оно не коснеет в мертвой стоячести, но движется, идет вперед, развивается. Если бы Ломоносов не вздумал писать од по образцу современных ему немецких поэтов и французского лирика Жан Батиста Руссо, не вздумал писать своей «Петриады»

по образцу Виргилиевой «Энеиды», где, вместе с Петром Великим, героем своей поэмы, сделал действующим лицом и Нептуна, засадив его с тритонами и наядами на дно прохладного Белого моря; если бы, говорим мы, вместо всех этих книжных, школярных нелепостей он обратился бы к источникам нашей народной поэзии — к «Слову о полку Игоревом», к русским сказкам (известным теперь по сборнику Кирши Данилова), к народным песням и, вдохновленный, проникнутый ими, на их чисто народном основании, решился бы построить здание новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопрос, повидимому, важный, но, в сущности, препустой, похожий на вопросы вроде следующих: что было бы, если бы Петр Великий родился во Франции, а Наполеон — в России, или: что было бы, если бы за зимою следовала не весна, а прямо лето? и т. п. Мы можем знать, что было и что есть, но как нам знать, чего не было или чего нет? — Разумеется, и в сфере истории всё мелкое, ничтожное, случайное могло б быть и не так, как было; но ее великие события, имеющие влияние на будущность народов, не могут быть иначе, как именно так, как они бывают, разумеется, в отношении к главному их смыслу, а не к подробностям проявления. Петр Великий мог построить Петербург, пожалуй, там, где теперь Шлиссельбург, или по крайней мере, хоть немного выше, т. е. дальше от моря, чем теперь; мог сделать новою столицею Ревель или Ригу: во всем этом играла большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и удобно сноситься с Европою. В этой мысли уже не было ничего случайного, ничего такого, что могло бы равно и быть и не быть или быть иначе, нежели как было. Но для тех, для кого не существует разумной необходимости великих исторических событий, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, если б Ломоносов основал новую русскую литературу на народном начале? — и ответим им, что из этого ровно ничего не вышло бы. Однообразные формы нашей бедной народной поэзии были достаточны для выражения ограниченного содержания племенной, естественной, непосредственной, полупатриархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло к ним, не улегалось в них; для него необходимы были и новые формы. Тогда спасение наше зависело не от народности, а от европеизма; ради нашего спасения тогда необходимо было не задушить, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, так сказать, задержать на время (suspendre) ее ход и развитие, чтобы привить к ее почве новые элементы. Пока эти элементы относились к нашим родным, как масло к воде,—у нас, естественно, всё было реторикою —